**"Хаос иудейский" В культурном контексте О. Э. Мандельштама**

**(На материале книги "Шум времени")**

Елена Черная

" Как крошка мускуса наполнит весь дом, так малейшее влияние юдаизма переполняет целую жизнь. О, какой это сильный запах".

О. Э. Мандельштам.

" Я люблю евреев, хотя сам и не могу стать таким, как они. Эволюция не сумела бы создать их. Они для меня - единственное доказательство существования бога".

И. Б. Зингер.

"Каждая национальная целостность есть космо-психо-логос, т. е.: тип местной природы, национальный характер народа и склад мышления находятся во взаимном соответствии и дополнительности друг к другу". Казалось бы, такое определение относится к любому этносу. Отчего же вопрос о положении культуры еврейского народа и о её взаимодействии с культурами различных государств занимает в наше время особое место? Попытаемся рассмотреть эту проблему на материале книги прозы О. Э. Мандельштама "Шум времени". Бытует мнение, что Мандельштам отмежевался от еврейства, и в самом деле, читая книгу "Шум времени" мы постоянно сталкиваемся с тем, что любое упоминание об иудаизме несет на себе ореол отрицания, чуждости. Но так ли это на самом деле? Или принадлежность к иудаизму кроется где-то в глубинных смыслах текста?

Первое упоминание об иудаизме связано в тексте с воспоминаниями детства. В рассказ о жизни Петербурга, о стройности, упорядоченности, "парадности" жизни города и его жителей, врывается фраза, перекрывающая своей значимостью все предыдущее повествование: "Весь стройный мираж Петербурга был только сон, блистательный покров, накинутый над бездной, а кругом простирался хаос иудейства, не родина, не дом, не очаг, а именно хаос, незнакомый утробный мир, откуда я вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывается и бежал, всегда бежал…Иудейский хаос пробивался во все щели каменной Петербургской квартиры угрозой разрушенья".

Книга Мандельштама носит автобиографический характер, но в то же время данный текст представляет собой и биографию эпохи. Автор так определяет предназначение книги: "Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени… Разночинцу не нужна память, мне достаточно рассказать о книгах, которые он прочел и биография готова". Но, несмотря на эти строки, в летоисчисление жизни эпохи как биографии самого автора, иудаизм проникает как сугубо личное начало, существующее независимо от жизни поколения. Рассмотрим указанный выше отрывок текста, акцентируя внимание на том, что это взгляд сложившегося человека на своё детство, это осмысление прошлого с точки зрения настоящего. Итак, стройный мираж Петербурга был только сон, … покров, накинутый над бездной". Т. е. мир реальный, мир поколения есть только "сон", "мираж", "покров", реальный мир переходит в разряд ирреального, что же тогда реально? "… кругом простирался хаос иудейства, не родина, не дом, не очаг, а именно хаос, незнакомый утробный мир…"

Выделим это противопоставление: "не родина", "не дом", "не очаг"; а именно "хаос", "утробный мир". Что есть родина, дом, очаг в сравнении с миром? Ведь не случайно здесь движение - от большего к малому, от родины к очагу. В этой градации прослеживается стремление к семейственности, средоточию, единению. Если родина - это пространство, где я родился, где родились соотечественники, то дом, очаг - это моё замкнутое пространство, пространство моей семьи, пространство обитания, дух единения. Но в то же время это пространство реально и осязаемо для окружающих, и родина состоит из таких семейственно заключенных пространств. Иудейство же противопоставлено этим понятиям. Это "именно ХАОС, незнакомый УТРОБНЫЙ МИР". Мир понятийно стоит первым в линии родина, дом, очаг. Это слово как бы объединяет все последующие понятия {т. к. оба основных значения: МИР - не война, единство}, но в исследуемом тексте это слово стоит обособленно, автор проводит четкую границу.

Реальную жизнь Петербурга окружают "хаос иудейства, незнакомый утробный мир". Опустим пока "хаос" и рассмотрим сочетание "Утробный мир". "Утробный" - значит внутренний, сокрытый ( сокровенный). Понятие "утроба" потребляется в двух основных полярных контекстах - "материнская" и "ненасытная"; если продолжить эту параллель, то и "рождающая" и "всепоглощающая". В сочетании с миром это приобретает довольно отчетливое значение. Далее рассмотрим сочетание "хаос иудейский". Говоря об иудаизме, Мандельштам постоянно связывает явление иудаизма с хаосом, что также неоднозначно в тексте. "Хаос здесь, с одной стороны, противопоставлен стройности Петербургской жизни; хаотичность отцовского наследия, языка противопоставлена чистоте, и упорядоченности языка матери {об этом далее}. Но в то же время "хаос иудейский" занимает положение, равнозначное "утробному миру". Хотелось бы обратится к роману И. Б. Зингера "Шоша", т. к. здесь намечается некоторая связь, объединяющая понятие "хаос иудейства" у Мандельштама с Зингеровским представлением об иудаизме. Герои "Шоши", рассуждая о цели всего сущего, произносят следующее:

-Так что же, цель всего - это желать?

-А где это написано, что цель должна быть?

Быть может ХАОС это и есть цель. Вы немного интересовались каббалой и наверное знаете, что до того, как Эйн-соф создал вселенную, он погасил свет и образовал пустоту. Вот в этой пустоте и начиналось сотворение".

Исходя из этого, мы можем предположить, что хаос есть первоначало, из которого все сотворено "…но как хаос может сотворить, что нибудь?"- Говорит Аарон Грейдингер, герой "Шоши". Но если соотнести суждение героев Зингера с "иудейским Хаосом" Мандельштама, то "утробный мир", мир рождающий и есть этот первоначальный хаос, "первопричина всего сущего". Из этого мира "я вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывался и бежал, всегда бежал. Определив причастность автора к "хаосу иудейскому", рассмотрим теперь, почему возникает эта боязнь и стремление бежать, отделиться от этого мира?

Создавая биографию времени, Мандельштам включает в эпоху и своё существования. Автор говорит, что его "память враждебна всему личному…; работает она не над воспроизведением, а над отстранением прошлого". Но это "личное (прошлое) пробивается во все щели каменной Петербургской квартиры угрозой разрушенья", … "клочками черно-желтого ритуала"; наряду с реально существующими для России и поколения праздниками "с крашенными яйцами, ёлками…, путался призрак - новый год в сентябре и невеселые страшные праздники, терзавшие слух дикими именами: Рош-Гашана и Йом-Кимур". Мы уже говорили выше, что это взгляд из настоящего в прошлое, в детство. И для ребенка, живущего в реальности Петербурга, в реальности своей эпохи страшен "призрак" (преследователь, появляющийся независимо от нашей воли) тех праздников, которых нет у его окружения. В этих праздниках ребенок чувствует отчуждение, отстранение от реального настоящего. Это возвращение в "мир утробный", спрятанный от других, обособленный, уводящий из настоящего в "чужой век".

Но не только боязнь незнакомого, чужого, оторванного от реальности Петербурга мира "боится" и "бежит" автор (тема еврейства связана в книге лишь с детством; принадлежность к иудаизму и внешняя жизнь Петербурга не связываются в психике ребенка в единое целое).

В представлении Мандельштама история народа есть история его языка, и в устах автора "слово как таковое" приобретает колоссальное значение. "Слово в эллинистическом понимании есть плоть деятельная, разрешающаяся в событие. Поэтому русский язык историчен уже сам по себе, т. к. во всей своей совокупности он есть волнующееся море событий, непрерывное воплощение и действие разумной и дышащей плоти".

Таков ли язык отца, ведь именно с отцовским культурным наследием связывает автор иудаизм. Иудаизм является ребенку в обличие его отца. {Мандельштам намеренно сокращает дистанцию между культурным фоном и фигурой, помещенной на этом фоне}. "Уже отцовский кабинет был непохож на гранитный рай моих стройных прогулок, уже он уводил в чужой мир, а смесь его обстановки, подбор предметов соединялись в моем сознании крепкой вязкой". Здесь Мандельштамом намечается чуждость отцовского мира стройности жизни дореволюционного Петербурга.

А вот строки из текста, посвященные культурному наследию семьи. Символом духовного и культурного наполнения семьи Мандельштама является "книжный шкап: "Эта странная маленькая библиотека, как геологическое напластование, не случайно отлагалась десятки лет. Отцовское и материнское в ней не смешивалось, а существовало розно, и, в разрезе своем, этот шкапчик был историей духовного напряжения целого рода и прививки к нему чужой крови". И опять в повествование входит понятие "хаос", но это уже не "первопричина сущего", а хаотичность еврейского наследия отца, его непоследовательность и смешение с другими культурами. Культурное наследие отца оказалось нежизнеспособным, время остановилось, а значит остановился и ход истории. "Нижнюю полку я помню всегда хаотической; книги не стояли корешок к корешку, а лежали, как руины: рыжие пятикнижия с оборванными переплетами, русская история евреев, написанные неуклюжим и робким языком говорящего по-русски талмудиста. Это был повергнутый в пыль хаос иудейский. Сюда же быстро упала древнееврейская моя азбука, которой я так и не обучился. В припадке национального раскаяния наняли ко мне настоящего еврейского учителя… грамотная русская речь звучала фальшиво". Но в то же время Мандельштам подчеркивает свою причастность этому миру. "Еврейская азбука с картинками изображала во всех видах…одного и того же мальчика в картузе с очень грустным и взрослым лицом. В этом мальчике я не узнавал себя и всем существом восставал на книгу и науку". С одной стороны автор чувствует, что "утробный мир", "хаос иудейский" - это его мир, его корни, но с другой стороны, еврейский мир, заключенный в рамки русской государственности, сквозит фальшью и наигранностью. "Раз или два в жизни меня водили в синагогу, как в концерт, ...чуть ли не покупая билеты у барышников; и от того, что я видел и слышал, я возвращался в тяжелом чаду". И опять противопоставляет автор глубинный смысл иудаизма, его ритуалы и таинства фальши современной жизни: "Еврейский корабль…плывет на всех парусах, расколотый какой-то древней бурей на мужскую и женскую половину. Кантор, как силач Самсон, рушил львиное здание, ему отвечали бархатные камилавки, и дивное равновесие гласных и согласных, в четко произносимых словах, сообщало несокрушимую силу песнопениям. Но какое оскорбление - скверная, хотя и грамотная речь раввина, какая пошлость, когда он произносит "Государь император", какая пошлость все, что он говорит!". И здесь же повествование о языке матери: "Речь матери - ясная и звонкая, без малейшей чужестранной примеси, литературная великорусская речь,.. это язык, в нем есть что-то коренное и уверенное… У отца совсем не было языка, это было косноязычие и безъязычие, …совершенно отвлеченный, придуманный язык, витиеватая и закрученная речь самоучки, где обычные слова переплетаются с старинными философскими терминами Гердера, Лейбница и Спинозы, причудливый синтаксис талмудиста…это было все что угодно, но не язык, все равно - по-русски или по-немецки. По существу, отец переносил меня в совершенно чужой век и отдаленную обстановку, но никак не еврейскую. Если хотите, это был чистейший 18 или даже 17 век просвещенного гетто где-нибудь в Гамбурге. Религиозные интересы вытравлены совершенно. Просветительская философия претворилась в замысловатый талмудистский пантеизм".

Но как близок мир отца миру, отображенному Зингером в "Шоше". В среде просвещенных евреев царит скептицизм и отрицание. Герой пишет пьесу "о девушке, которая хотела жить как мужчина. Она изучала Тору, надевала талес и филактерии. Она стала раввином и у неё был свой хасидский двор". Современный еврейский мир требовал сенсаций, отпадения от традиций, но не полного отречения от еврейства. Это попытка прижиться к иной культуре, в данном случае, к европейской. Это естественный процесс, т. к. спецификой еврейской нации является её странничество, её сосуществование с другими народами. Не имея своей земли, своего национального пространства, евреи создавали небольшие островки, местечки, где жизнь подчинена традициям, единственному способу не раствориться в чужой среде. Л. Аннинский так характеризует это явление: "Традиционное еврейское сознание предлагает своим детищам тысячелетний рецепт спасения: верность. Верность ритуалу, верность старым книгам, верность масляному фитильку в ханукальный вечер… еврейскость "как таковая". Но рушится и это. Трагедия евреев в том, что они не могут перестать быть евреями даже тогда, когда страстно хотят перестать ими быть. Клеймо диаспоры горит в их душах…". Не такова ли картина в "Шуме времени"? Еврейские книги отца "лежали, как руины,... это был повергнутый в пыль хаос иудейский. Над иудейскими развалинами начинался книжный строй, то были немцы: Шиллер, Гете, Кернер… Это отец пробивался самоучкой в германский мир из талмудических дебрей".

И как попытка вернуться в родное лоно, возобновить традиции, подняться из руин, "в припадке национального раскаяния", нанят был настоящий еврейский учитель. Но его "грамотная русская речь звучала фальшиво", "чувство еврейской национальной гордости звучало неестественно", "я знал, что прячет свою гордость, когда выходит на улицу, и поэтому не верил". Эта "адаптированная" к русской среде, русской государственности еврейскость, отсутствие своего языка и стройности наследия отталкивает автора. Здесь нет движения вглубь истории, а есть попытка продлить остатки национальных традиций в русскоязычной пространственной протяженности. Время отца остановилось, превратилось в "руины" и остановилось.

И как доказательство реальности этого остановившегося времени, читаем мы у Зингера:

" Крохмальная улица (еврейский район) представлялась мне глубоколежащим пластом археологических раскопок, до которого я, вероятно, никогда не смогу добраться! Но в то же время я помнил каждый двор, дворик, помнил хедер, хасидскую молельню…". Складывается ощущение, что евреи, оказавшиеся в лоне европейской культуры, зачастую несущей в себе атеистические взгляды (чаще возвращение к религии возникает в европейской культуре в упадочные эпохи как попытка вернуться к первоначалу), просветительство и дух протестантизма, пытаются влиться в эту культуру, прижиться к ней, стать её частью, в то же время не утратив своих традиций. И в этом замечена некая особенность еврейской нации. В.В. Розанов в работе "В соседстве Содома" так говорит об этой проблеме: "… у евреев женоподобность национальна; Древние пророки говорят о непрерывной влюбчивости евреев в соседние племена … Евреи действительно прилепляются, прилипают, как сказано о жене, что она "прилепится к мужу своему". Так культура иных народов, в данном случае польского и русского, а, в общем, культура европейская, врывается в еврейскую среду вихрем просветительства. Здесь существует двойная связь: кроме "влюбчивости евреев в соседние племена" существует ещё такая проблема, как существование одной культуры в контексте другой, существование в контексте иной государственности, и тогда необходимо это проникновение, приживление к этому государству, к его культуре, языку. Тогда почему же русская речь еврейского учителя звучит фальшиво, почему служба в синагоге и все, что говорит раввин, наполнено пошлостью, неестественностью, почему время остановилось, а попытка возвращения в мир иудейский выглядит как "припадок национального раскаяния"? Здесь хотелось бы отметить, никак не претендуя на подлинность данной гипотезы, что иудаизм как религия не существует вне еврейской культуры; тогда вообще сомнительно существование еврейской культуры, оторванной от религии. В этом особенность иудаизма, его особое место среди иных культур и религий. Если европейская культура мыслится вне церковных доктрин, если жизнь светского европейца лишена обрядовости, ритуала, а литература носит мирской, зачастую атеистический характер, то культура еврейская, ее бытописание, неразрывно связана с таинствами иудаизма. Сама жизнь еврея есть таинство, есть жизнь в Боге, в вековых традициях. Это очень четко прослеживается у Зингера. Жизнь Крохмальной улицы, ее жителей пронизана "еврейскостью", где верность ритуалу проглядывает в каждом шаге родителей героя (отец - раввин), в чистоте и простоте жизни семьи Шоши. Эти люди просто живут и верят, не задумываясь о правильности закона, по которому они живут, и, не боясь вторжения в их мир чужой культуры. Но даже в тот момент, когда просвещение и атеистическое мировоззрение, круговорот реальной жизни страны вырывает героя из Крохмальной улицы, и тогда, став человеком светским и как бы утратив эту связь с еврейством как таковым, познакомившись с трудами Дарвина и утратив уверенность в том, что чудеса, описанные в святых книгах, действительно происходили, Аарон Грейдингер (Цуцик), да и все его окружение, все равно не могут оторваться от еврейства; традиции, атрибутика преследуют героев, от этого невозможно уйти, и трагедия героев "Шоши" заключается не только в том, что Польша оккупирована немецкими солдатами и евреи оказались в двойном кольце, но и в том, что в такой критический момент евреи утратили веру и остались одни лишь предметы ритуала, "наглядное пособие еврейства". Наличие предметов ритуала не несло в себе спасения, "…трудно было поверить, что такая пылкая любовь к еврейству - всего лишь декорация, а внутренний смысл, сущность всего этого давно утеряны большинством из нас".

И, проектируя эти строки на текст "Шума времени", мы видим, что наследие отца, его попытка соединить несоединимое, вырваться из "талмудических дебрей в германский мир" приводит к смешению культур и "отпадению" от еврейства ("отец уводил в чужой мир - никак не еврейский"), "хаос иудейский" повергнут в пыль, германский мир не познан, связь с русской культурой существует на уровне русскоязычных переводов еврейских книг (как языковая среда государства), и даже грамотная русская речь еврейского учителя звучит фальшиво.

Не чувствуя глубинности, таинственности смысла в наследии отца, чувствуя фальшь во внешнем проявлении еврейства, не отрицая язык отца, автор пытается скрыться от этого в русской культуре, в языке, полном стройности и бытийственности. Поэтому мать, чья речь "ясная, звонкая, без малейшей чужестранной примеси", ближе автору, чем "составленные из незнакомых шумов" слова рижского дедушки. Речь матери - литературная великорусская речь, близка автору еще и потому, что это живой язык поколений, живших на этой земле, этот язык понятен и близок с детства, а язык отца незнаком, "чужд", он уводит в "век чужой, в чужую обстановку". Ведь все упоминания об иудаизме связаны с детством автора, это отношение ребенка к попытке привить "чужую кровь", далее же текст посвящен истории эпохи, истории поколения, его культуры. "Взрослый" Мандельштам уже не возвращается к иудаизму как к проблеме "свое - чужое". Это задано в главах о детстве: "Как крошка мускуса наполнит весь дом, так малейшее влияние юдаизма переполняет всю жизнь". И как бы ни хотелось бежать от этого наследия, получив его, будучи рожденным этим "утробным миром", его нельзя убежать.

Но почему тогда память Мандельштама "враждебна и работает над отстранением прошлого"? Почему автор отказывается от всего личного и свою биографию вписывает в биографию эпохи? На мой взгляд, ответ дает само название книги - " Шум времени".

"Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени", а время - это Россия конца 19 - начала 20 века, эпоха перемен, эпоха переломная как для русской, так и для европейской культуры - смена литературных направлений, переход к другому типу государственности. И с этими переменами, с этой жизнью никак не совпадает остановившаяся в 18 или даже 17 веке, жизнь отца, и запнувшийся на Надсоне мир матери. Мир родителей глух к новой эпохе, и шум времени не слышен им. В этом мне видится "враждебность" отношения ко всему личному. Родители утратили связь времен. "Что хотела сказать семья? Я не знаю. Она была косноязычна от рождения, - а между тем у нее было что сказать. Надо мной…тяготеет косноязычие рождения. Мы учились не говорить, а лепетать - и, лишь прислушиваясь к нарастающему шуму века..., мы обрели язык". И снова хочется вернуться к тексту "Шоши", где герой, молодой еврейский писатель, так видит цель творчества: "Я полагал, что задача литературы - запечатлеть уходящее время. Но мое собственное время текло между пальцев". Возможно, Мандельштам, рассказав историю своего детства, историю семьи и ее духовного наполнения, отстраняется от нее и входит в семью иную, может быть, более абстрактную, но и более насыщенную, более единую - семью литературную. В устах автора литература обретает значение дома, семьи и дает ему то, что не смогла, возможно, дать семья реальная. И Мандельштам как поэт, как литератор, входит в литературную семью, "чей дом был полная чаша".

**Список литературы**

1. Мандельштам О.Э. Четвертая проза. - М.: СП Интерпринт, 1991.- 240с.

2. Мандельштам О.Э. Собрание сочинений в четырех томах. Том II. - М: ТЕРРА, 1991.- 730с.

3. Башевис Зингер И. Шоша. Сборник: "Шоша". Роман. Пер. с англ.; Рассказы. Пер. с идиша. - М.: РИК "Культура", 1991, - 336с.

4. Розанов В.В. Сочинения. - М.: Сов. Россия, 1990. - 592с.

5. Гачев Г. Русская Дума. Портреты русских мыслителей. - М.: Издательство " Новости", 1991. - 272с.